

Александр Левитов

Не к руке



Александр Иванович Левитов

Не к руке

«Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случай видеть буйное движение шоссежных дорог или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015

Александр Иванович Левитов
Не к руке
(Шоссейный очерк) [1]

Близко то время, когда окончательно вымрут те люди, которые имели случаи видеть буйное движение шоссейных дорог или так называемых каменных дорог тогда, когда железные дороги не заглушали еще своим звонким криком их неутомимой жизни.

Да! Разваливаются теперь эти бесконечные, сверкавшие в хорошую погоду ослепительною белизной, белокаменные дороги, точно так же, как совсем уже развалились здоровенные двухэтажные домищи, которые, называясь постоянными дворами и белыми харчевнями, составляли некогда честь и славу шоссе.

Глубокие выбоины и колеи безжалостно изранили белую грудь дороги, и ямщик Герасим Охватюхин, в старину известный всем малым ребятам от Москвы до самой Тулы, не прокатит уже по ней на своей залихватской тройке забубённую компанию купцов, которые из его калужского тарантаса стреляли в проезжий народ бутылками шампанского, с хохотом закуривали трубки ценными ассиг-

нациями и которые наконец, *дуясь в трынку*, воздвигали на кожаных подушках тарантаса целые горы исчезнувших ныне золотых...

Редко-редко когда в теперешнее время проскачет по опустевшему шоссе помещичья тройка, отчасти только напоминающая бешеные охватюхинские тройки, огневая езда которых сопровождалась несказанным гамом купцов, оравших на всю длинную сельскую улицу: «Эх! Была – не была, повидалася! Замирили твою тыщу, да под тебя, выходит дело, еще две подваливаем... Жги по-кульерски, Гараська! Кон возьму, сотельную тебе на чай, – действуй только по-божецкому... Эй вы, бабы! Нуте-ка вот в тарантас к нам, к купцам, к молодцам. Прискучило небось без мужиков-от сидеть?.. Мы бы разутешили, ха, ха, ха!»

Безвозвратно свеял куда-то ветер с широкого шоссе эти возгласы, и вот уже сколько времени прошло, как их совсем не слышно на пришоссейных улицах, потому что большая часть лихачей, одушевлявших каменные дороги своей удалью, перемерла; меньшая, *прогоревши*, превратилась в «Любимов Торцовых»[2], которые забавляют теперь кабачную

и рядскую публику изображением грома и молний, стараясь дать своим *поильцам* хоть приблизительное понятие о тех громах и молниях, в сопровождении которых летывали они некогда на тройках Гараськи Охватюхина. Остается еще одна категория купцов; но и та теперь не оживляет шоссе: они *остепенелись*, то есть, несмотря на седые бороды, пригласили к своим дочерям молодых гувернанток, сыновей роздали по разным *пользительным* школам и, со свойственной им шельмоватостью всматриваясь в повсюдное обмельчение и проникновение горючих жизненных элементов, улыбаются и шепчут в своих охладевших сердцах: «Такие ль мы были? Эх ты, старина-старинка! Куда-то ты, матушка-старинка, закатилась...»

В самом деле – в какую неведомую даль ушла эта, столь оплакиваемая, матушка-старинка по бесконечному шоссе? В каких, например, далеких захолустьях поживают теперь и что именно поделывают широкобородые извозчики, вечно сновавшие по каменным дорогам на изумительно терпеливых мереньях, которые, громыхая медными бубенца-

ми и наборными сбруями, мерно проходили тысячи верст, таща на себе гигантские грузы. Редко кое-где на конюшнях богатых купцов можно еще встретить некоторое подобие этих исполинских тружеников шоссе, заменяемых ныне локомотивами, – переводится, к сожалению, их могучая природа, как бы нарочно приспособленная к деятельному участию в тяжелых трудах мужика. С исчезновением же этих русских элевантов[3] исчезли целые орды промышленников, главною профессией которых было выковывать для извозчичьих поильцев и кормильцев тяжелые подковы, увешивать их задумчивые головы усыпительно жужжавшими погромками или на *малиновый манер* звеневшими колокольчиками. *Прогорело* и стибло теперь, за опустением шоссе, это мастерство дорогих уздечек, украшенных серебром с чернетью, таковых же шлей, чересседельников, сафьяновых хомутов, разноцветных шелковых вожжей и высоких, размалеванных всеми цветами радуги дуг. Едет теперь по шоссе на ближний базар мужик или даже сельский торговец, и в голых руках этих людей, в разгар шоссе

движения знавших замшевые, узорочно вышитые бумагой и даже шелками рукавицы, находятся не крепкие ременные вожжи, сразу обуздывавшие любую лошадиную удаль, а либо мочало какое-нибудь прогнившее, либо веревка, связанная тысячью узлов. Трогает проезжающий самоделковой вожжой свою лошадь, губами ей из всех сил подчмокивает и даже руками так суетливо размахивает, а лошадь никак не может идти быстрее рыси тех людей или, ежели угодно, вообще всех тех живых существ, которые голодом хотя еще совсем и не изморены, но которым никогда тоже вволю покормиться ни разу не приходилось.

Сидит старый ямщик Герасим Охватюхин на приворотной лавочке своего громадного, но теперь, как и сам хозяин, развалившегося постоянного двора – и видит, как мимо него проезжает этот горемыка-проезжий, какого «в свойную утешную Гараськину езду» живо бы лихие шоссейцы спихнули в придорожную канаву вместе с его ободранною клячей и брусяною телегой. Потухшие глаза выжившего из ума старика засветились, в виду этой

мочально-веревочной картины, тем бесшабашным смехом, которым он во время своих шоссейных буйств охаивал всякого встречного и поперечного «за ихнее, например, неуменье обходиться с конем».

Самую середину дороги загородил Охватюхин горемыке-ездоку, оскалил на него свои красные, беззубые десны, подперся руками в бока и, тряся седою кудлатою бородою, с заливным хохотом спрашивал:

– Што, друг, об имени-отчестве твоём неизвестны, расскажи на милость старому ямщику, у какого ты фабриканта вожжу эту самую мочальную покупал, а? Ха, ха, ха! Должно, неинаково вышло дело такое, што как вещь эту из-за границы и по железке к нам привезли, – а? Хе, хе, хе! Для показу, например, нашему брату-неотесу?.. Мы што-то в старину сокровищев таких и не видывали, а признаться сказать, обхожденье насчет коня не хуже нонишнего ездока понимали... Да уж и работал же нам конь в старину! Мы на коню заработки-то выезживали не в пример пожирнее ваших нонишних чугунных-то... Ха, ха, ха!

– Эх, дедушка Герасим, дедушка Герасим! – чуть-чуть не со слезами говорил мочальный человек, непременно знавший старого Охватухина. – Ты про ваши заработки старинные и не вспоминай лучше, – нутро болит! У вас-то, бывало, по каменным дорогам калач – не калач, свежина – не свежина...

– Ха, ха, ха! – заливался Охватухин веселым старческим смехом, необыкновенно похожим на беззаботный детский смех. – Э, друг! Вспомнил небось про свежинку-то. Про матушку!

– Вспо-омнишь!.. – соглашался мочальный человек, потряхивая шапкой, как бы с целью сбросить ее и освежить тем голову, внезапно застрадавшую при вспоминании о матушке-свежинке или о батюшке-калачике с сотовым медом...

– Чуд-да-ак! – несказанно торопясь почему-то, кричал дедушка Герасим. – Мы, бывало, калач-то али там лапшу с гусиным потрохом кажинный день жуем, а у вас-то лапша про свят день до обеда... Где они у вас ноне, потроха-то энти, например? Хе, хе, хе...

– Д-ды мы про потроха-то и думать тепери-

ча позабыли!.. – плаксиво пели гнилые мочала и истрепанные веревки, скреплявшие проежжего человека с его беспотрошной телегой и таковою же лошадыю.

Во время этого разговора в лесу, опушавшем шоссе, раздалось оглушительное, сопровождаемое свистом, грохотание какой-то силы, которая, тяжело отдуваясь дымом и искрами, испугала своим внезапным появлением шоссезные речи. Они прекратились на некоторое время ввиду чего-то страшного, что, визжа и ослепительно сверкая, умчалось куда-то, ужаснувши окрестности своим мощным дыханием.

Из-под обаяния этой непобедимой силы первый освободился старый Герасим Охватюхин. Следя за ее быстро мелькавшими следами своими насмешливо прищуренными глазами, он задумчиво шептал, не относясь, впрочем, в особенности ни к ухабистому шоссе, ни к лесу, безучастно его окаймлявшему, ни к унылому седоку с его гнилой телегой и помертвевшей от голода лошадыю.

– Ишь, ишь, как черти несут! Вон она, свежинка-то, где! Нет – не к руке нам эта свежин-

ка!..

Затем вдруг, вышедши из своей нечаянной задумчивости, он снова заливался трясущимся, стариковским смехом и снова принимался трунить над мочальным человеком, настойчиво рекомендуя ему «пришпандорить покрепше коня мочальной вожжой и догнать чугунку».

– Там, – кричал старый насмешник, – беспрерменно есть потроха са-ам-мые загранишнии, – ха, ха, ха! Только догони чугунку, там в тебя вложут их – самых луччих... Сколько душа пожелает...

– Не рука нам, дед, не рука туда ездить, – сколько раз я тебе толковал насчет эфтова смыслу, и все ты меня, старый, на зубок поднимаешь! – отвечали, в свою очередь, тележная мочала и веревки, влекомые издыхающей лошастью по тому же самому шоссе, по которому некогда скакивал на сердитых тройках удалой Гараська Охватюхин, удивляя прохожих, – как удивляет их теперь молниенный гул железной дороги, – своим разбойничьим свистом, удалою песней и, наконец, своей постоянной насмешкой над человечески-

ми бедами, которые вечно плелись и вечно будут тихо и смиренно плестись по узким тропочкам, сторонясь бешеных поездов, паромов, лошадьми ли бесследно стирающих людские печали и радости с равнодушного к тем и другим лица земного...

Таким образом, жизнь современного шоссе главнее всего сосредоточилась теперь в полоумном ямщике Охватюхине, который различными солонинами, свежинами и вообще, как он говорит, убоиной защищает его старинные, жратвенные традиции, протестуя тем самым против порядков железных дорог, на которых, по его словам, «лба-то перекрестить не дадут человеку как следует, а не то штобы кусок какой-нибудь ужевать с передышкой»...

Со всех концов длинного села соберутся на охватюхинскую приворотную лавочку мужики, шоссейное шаромыжничество которых упразднила железная дорога, проложенная в каких-нибудь двух верстах от каменки, и от нечего делать распевают о кусках, выхваченных чугушкой из их ртов и унесенных его куда-то и зачем-то с быстротою молнии.

В самых причудливых и разнообразных формах выражались эти легендарные сказания о куске, который так недавно еще, на памяти у многих стариков, как ошалелый ша-

тался по шоссе и назойливо совался в рот самому ленивому и пьяному мужичонке, и вдруг от куска этого остались одна беспечная, измощенничавшаяся лень да жесткие булыжники шоссе.

– Тогда еще старики толковали, што железка нам не к руке! – пел какой-нибудь из завсегдателей лавочки Охватюхина, раззадоренный его речами о шоссе, текшем некогда молоком и медом.

– Как не говорить? Известно – были разговоры, што ее нам не требуется, – вставлял свое слово другой завсегдатель. – Родитель наш – упокойник – тыщу рублей, на ассигнации по-тогдашнему, становому отвалил, штобы, значит, не мешала она нашим порядкам... Теперь вот и плачься!

– Заплачешь! – слышался в общем хоре третий возглас. – У меня, бывало, солонины одной в осень по тыще пудов на проезжего выходило. Эвона чаны какие, бывало, на дворе наставишь с ей, с матушкой...

– А у нас-то? – раздавались другие азартные ноты. – Да у нас с тятенькой калачу в один день по сту пудов разбирали, – квасу

летним днем, ежели, то есть, господь жару посылал, по пяти бочек выпивал богомолец, – кренделю што таперича харчили... Медюки-то, сейчас умереть, родитель и не считал никогда, а так это четверками их мерил аль на пуд...

Эти сердечные сокрушения об утраченных благах старик Охватюхин выслушивал с невыразимым презрением, потому что они в глазах его не представляли собой ни малейшей ценности в сравнении с тем громадным кусищем, который благодаря железке так быстро и неожиданно соскользнул с его стариковских зуб. Великолепное отношение ко всем этим ничтожным квасам, калачам и медюкам старик позволял себе нарушать тогда только, когда ему становилось совсем уж невтерпеж, то есть когда соседи пронизывали ему все уши своими сокрушениями о том, что квас ноне – пустое дело, на солонину – наплевать ежели, так греха не будет, а медюк коли захочешь в евой кошель залучить, так прежде подумай об этаким деле с супругой – не поспи ночек пяток, тогда, может, он, медюк-то, ненароком как-нибудь в кошель и за-

тешется к тебе.

Хереса, дреймадеры и даже шампанское напоминали старику эти соседские возгласы о всеобщей испорченности людских вкусов, допустивших вдребезги расшибиться на шоссе «квасной части»; трактирные щи, кулебяки и даже «каклеты» лакомо мелькали в глазах Охватюхина, когда какой-нибудь экс-торговец солониной настойчиво утверждал, что по нынешним временам вряд ли из бар-то кому придется укусить настоящего, *необдирного* мяса, и, наконец, тусклые медюки, так хвастливо рассыпавшиеся некогда по четверикам, группировались воображением деда в синенькие и беленькие ассигнации, светлые империалы и тяжеловесные платинки, которые в былое время так гулко и беспереводно пошевеливались в его бездонном кожаном кошельке.

Весь охваченный подобного рода роскошными представлениями, старик изредка только достаивал подлаживать распевавшему около него хору, сердито встряхивая свои седые космы, ядовито улыбаясь и тихо побрюзгивая вроде того, что: «Так! так! Калач

был у вас точно што... хе, хе, хе!.. первый сорт! Крупчатка даже елецкая зеленела в нем от посконного масла, как бесы перед заутреней зеленеют... хе, хе, хе!»

– А севрюжина, например, соленая? – сладострастно воет опустелое шоссе. – А сомовина, – звона, бывало, какие, батюшка! В какой-нибудь праздничек божий заломают это, бывало, бабы пирог с сомовьей главизной, – страсть – сичас умереть!..

– Што про севрюжину толковать? – соглашается дед своим ироническим шепотом. – Не токма пруды, а речки текучие, так и те вплоть до самого дна высыхали от рыбьего духу... хи, хи, хи! Извозчики-то от вашей рыбины словно деревья в лесу от бури валились...

Но подтрунивая таким образом над соседскими сетованиями, старичина тем не менее никому не давал права заключать, чтобы его симпатии к шоссе были мельче соседских и чтобы его ненависть к чугункам могла уступить чьей-либо другой ненависти к этим дурацким выдумкам новейшего времени. Напротив, добра этого накоплено было в его

сердце такое страшное количество, обладание которым оказывалось решительно не под силу всем его соседям в сложности. Те все-таки иной раз снисходили к чугунке, изредка отправляясь по ней в город с коровьим маслом, творогом и яйцами; Герасим же Охватюхин не давал в этом отношении лютному врагу своему никакого пардону, расколачивая, елико возможно, каждый шаг его, быстрый как молния и гремящий наподобие июльского грома!..

Герасиму Охватюхину не было ни малейшей нужды, как он сам постоянно говорит, «подражать, например, разным там немецким затеям, потому как, хе! ежели Гараська Охватюхин не едал хлебов из семи печей, так кто же, кроме его, и ел их, – господи ты боже мой! У Гараськи-то перо одно парадное было на шапке, так и то пятьсот рублей стоило! Вот перушко каково, – ха, ха, ха! Подарил то перушко Гараське московский купец Трепачев, тятенькой нонешним-то трепачевцам приходится, какие теперича, ха, ха, ха! по чугункам-то ездят с мамзелями с разными. Прочугунятся небось – промамзелются, – подожди!»

– А вы говорите, – в упор уже обращался старик к жалующимся на безвременье соседям, – вы же все, например, толкуете насчет своих квасов алибо главизны сомовьей, – ха, ха, ха! Чем же вы после того супротив меня будете, когда подо мной завсегда тридцать троек битюцкой али аргамацкой породы хаживало, – а? Ха, ха, ха! В самый Кеив ведь али даже в Аршаву тройки-то охватюхинские заезживали, – так-тось, други мои сердечные, а не токма што...

Новый элемент вступается в шоссейные разговоры. Он считает своей обязанностью поддержать хвастливые речи старинного удальца, и поддержка эта оказывается тем действительнее, что элемент представляется в виде необыкновенно сумрачного субъекта с огромными глазами и с впалыми бледными щеками, сплошь обросшими густыми черными волосами. Унылый бас, нанковый линючий подрясник и порыжелая плисовая шапочка, надетая на кудлатую голову, рекомендовали субъекта за одного из тех странников, которые вечно шатаются из одного монастыря в другой, отдыхая от этих кочевьев у знако-

мых мужиков, мещан и купцов и платя им за гостеприимство теми чудодейственными рассказами про дива пространного божьего мира, от которых поднимаются дыбом волосы на головах людей, одеревеневших было от нескончаемого однообразия захолустной сельской жизни.

– Полетали на троечках дяди Герасима всласть, аки бы на крилах ветряных летывали, – проговорил сумрачный странник с глубоким вздохом, от которого его унылый бас делался еще унылее и, так сказать, готовнее до глубокой боли ущипнуть суеверные сельские сердца протяжными повествованиями о разнообразном зле, властительно будто бы царящем во всех точках земного шара.

– А, а! – восклицал Охватюхин, по своему обыкновению злорадно подсмеиваясь. – Што же это ты об охватюхинских тройках жалеть принялся? Чего же их жалеть-то, друг, – ха, ха, ха! Вон чугунок под носом, – попроворней, пожалуй, моих конев-то будет, потому она огнем действует...

– И разжеся огонь в сонме их, и в пламень попали грешники, – простонал странник сво-

им зловещим голосом. – Вот какие слова говорю вам насчет чугулки, – торжественно обратился он к приворотным сокомпанейцам, – и слова эти я вам сказываю не от себя. Вот вы их восчувствуйте!..

– Чего там восчувствовать-то? – оживленно и хором гаркнули сокомпанейцы. – Мы от этой железки-то давно уж кушаками животы подтянули, бурчит, на скотину от ней падеж пошел, – собаки даже путевой во всей деревне нет...

– И разгневаясь яростию господь на люди своя и омерзи достояние свое... Вот она, железка-то, какова! – с глубоким трагизмом отрезонил странник. – Кто настояще, – говорил он, как бы уясняя что-то, – вникает в Писание, тот понимает, что, как и к чему... Дело хвалить нечего, сами вы видите... На ваших, кажется, глазах-то...

– Как не видать? Давно видим, што дело не к руке, – снова запевал хор, оживляясь все более и более своей излюбленной песней о несподручной железке и о различных великих и богатых милостях, раскатывавшихся некогда, в очью всех, по гладко укатанным

каменным дорогам на беззаботную и сладкую потребу всех пришоссейных утроб.

Усерднее всех распевали эту песню Герасим Охватюхин и странник. Они, в то время, когда разношерстные бороды вытягивали основную песенную поэму насчет маслянистых калачей, забористых квасов и жирных мяс, варьировали ее рассказами о непостижимых для простого ума случаях, решительно невозможных ни на какой другой почве, кроме как на шоссеной.

– По шасе-то какой, бывало, богомолец ходил? – азартно спрашивал странник. – Ноне и нет таких, – все норовят как бы им поскорее в мирское звание, отличиться, потому прельщение везде очень большое пошло. А допрежь того богомолец круглый год странничал по святым местам – и был он сыт, обут и одет, и так надо сказать, што везде принят по милости божией.

– А мы-то, бывало, извозчики-то, – с не меньшею страстностью подхватывал Герасим. – Закатишься эдак, к примеру, в Крым за яблоками али в Сибирь за чаями, – коси малину! Года по три домой-то и не заглянешь со-

всем.

– Богомолец был в старину настоящий, хороший, – ничуть не слушая Охватюхина, перебивал его речь угрюмый странник. – У нас такие отцы хаживали, такие... В цельную неделю по единой только просвирочке скушивали. Таких подвижников теперича и не найдешь, пожалуй, нигде: рази, может, в затворах где-нибудь пребывают, так ведь они нам, грешникам, ликов своих ни за што не объявят.

Деликатность, с которою Охватюхин выслушивал любопытные эпизоды о таинственных личностях, скрывающих от грешных глаз свои лики за крепкими затворами, нисколько не уступала деликатности самого странника, ничуть, в свою очередь, не интересовавшегося рассказами отставного ямщика про то, «как они в старину закатывались в Крым за яблоками али, например, в Сибирь за чаями». Одним словом: каждый из них заливался своим собственным мотивом, в финале которого получался рев хора, злобно утверждавшего, что всем вообще певцам не к руке несчастная железка.

Настойчиво преследовала песня свою главную тему. По тем ее вариациям, которые проделывал ямщик, несомненно выходило, что ни от чего другого, как только от железки, обезлюдели шумливые дороги и неизвестно куда девались силачи-извозчики, приподнимавшие за задок телеги стопудовую клажу.

– У нас народ ядреный был, – как бы в сладкой дремоте, зажмурив глаза, распевал Охватюхин. – Куда его ни поверни, он своей чести нигде не потеряет, хоть в пир, хоть в мир, хоть в добрые люди. У нас был один извозчик из Саратова, так тот однажды меру калачей на спор съел да пять фунтов меду. В бане после того двое суток живот-то ему вениками отпаривали и маслом оттирали деревянным, потому мед, словно камень, застыл в нем...

– А в монастырь, бывало, ежели в какой взойдешь, – в необыкновенно нежной задумчивости подтягивал странник, – сейчас тебе пицца всякая... Братия, например, встречают с поклонами.

– Саратовец-то энтот, – внезапно врезывался Охватюхин в идиллию странника, – возмет, бывало, лошадь за передние ноги да на

спину себе, ровно бы овцу, и взвалит... Вот тебе и чугушка, – ха, ха, ха!

1874

Примечания

Печатается по тексту «Ремесленной газеты», 1874, No 10, (с. 235—238) и No 13 (с. 308—309), где и было впервые напечатано. В прижизненные сборники не включался.

[^^^]

2

...превратилась в «Любимов Торцовых» – то есть в бродяг, перекаати-поле (по имени героя пьесы А. Н. Островского «Бедность не порок»).

[^^^]

Элефант – слон.

[^^^]